
Кризис Российской империи 1890—1914 гг. в зарубежной историографии

Ольга Большакова

Western historical writing on the crisis of the Russian empire, 1890—1914

Olga Bolshakova

*(Institute of Scientific Information for Social Sciences,
Russian Academy of Sciences, Moscow)*

DOI: 10.31857/S086956870004497-7

В истории России 1890—1914 гг. занимают особое место, вмещая в себя и мощный экономический рывок в ходе индустриализации, и расцвет науки и культуры (в том числе массовой), и активизацию общественной и политической жизни, включая создание политических партий и кратковременный «конституционный эксперимент», и многочисленные реформы, среди которых наиболее известны «столыпинские». В то же время этот период отмечен такими драматическими событиями, как русско-японская война и революция 1905—1907 гг. Но главная его характеристика, его сущность в другом: это — «преддверие революции» 1917 г. Довольно долго он так и воспринимался исследователями, а его границей считался не 1914, а 1917 год. Лишь сравнительно недавно, когда и в научных работах, и в публицистике падение монархии и распад Российской империи тесно связались с Первой мировой войной, хронологические рамки сместились на три года назад. В любом случае это время окрашено предчувствием грядущей катастрофы, что неизбежно накладывало и продолжает накладывать отпечаток на подходы и трактовки историков.

Хорошо известно, что в XX в. политика и идеология оказывали сильнейшее воздействие на изучение «преддверия революции» как в советской, так и в зарубежной историографии. Серьёзное систематическое его исследование за границей началось после Второй мировой войны, в условиях разворачивания войны «холодной». При этом больше всего о России писали в США, где стремление понять, что собой представляет главный соперник в глобальном противостоянии сверхдержав и военных блоков, финансировалось и государственными структурами, и частными фондами¹. Американцы, несомненно, задавали тон в зарубежной историографии России, хотя немалую роль в ней играли немецкоязычные работы, куда в меньшей степени — французские и итальянские; позднее к изучению имперской России подключились японцы. «Проблема» и даже «парадигма 1917 г.» занимала в ней в тот период центральное место. С тех пор многое изменилось: после окончания холодной войны русистика претерпела кардинальные изменения, пережив настоящий взлёт, а влияние на неё «политики» стало куда более опосредованным. Современные публикации о 1890—1914 гг. поражают разнообразием тем, подходов и интерпретаций. «Проблема 1917 г.» утратила своё основополагающее значение, на первый план вышло изучение империи во всём её культурном, социальном,

этническом и конфессиональном многообразии. Тем не менее представление о переломном, кризисном характере рубежа XIX—XX вв. неизбежно присутствует и в этих работах, пусть и не так ярко, как прежде.

Во второй половине XX в. и в советской, и в зарубежной историографии господствовало представление о глубоком, многофакторном кризисе, который неумолимо вёл царскую Россию к коллапсу. Соответственно изучались разные его аспекты: социально-экономический, политический, административный. Это могли быть кризисы достаточно локальные, как, например, голод 1891—1893 гг. или крестьянские волнения 1902—1903 гг., общенациональный — революция 1905—1907 гг., наконец, кризис аграрный, ведущий своё происхождение, как считалось, от крестьянской реформы 1861 г., и т.д. Все они складывались в общую картину «кризиса самодержавия», достигшего своего пика в годы Первой мировой войны и драматически завершившегося в 1917 г. Отголоски этих представлений звучат до сих пор. Но теперь — после распада СССР и смены историографических парадигм — всё чаще говорится не про национальный, а про общемировой кризис, который привёл к глобальной войне и вызвал череду революций и гражданских войн в разных частях света. Понятие кризиса наполнилось новым содержанием. Вместе с тем, прослеживая траекторию развития западной русистики за последние 50 лет, следует учитывать, что, несмотря на существенное изменение подходов, интерпретаций и методов исследования, выводы и оценки, содержащиеся в предшествующих трудах, по большей части не отбрасывались, а включались в новые работы, написанные уже под иным углом зрения и на иные темы, но так или иначе связанные всё с тем же «преддверием революции».

И для русской эмигрантской историографии, и для многое взявшей от неё западной русистики революция 1917 г. представляла собой разрыв, нарушивший сближение России с Западом². Поэтому ключевыми становились вопросы: можно ли было её избежать, кто несёт за неё ответственность и что же привело к падению царского режима? При этом зарубежные историки придерживались ретроспективного подхода и, отступая всё дальше в прошлое от 1917 г., выявляли факторы, готовившие почву для революции.

Первоначально, особенно в рамках интеллектуальной истории, решающее значение придавалось идеологии. В послевоенные годы, во многом под влиянием И. Берлина, усматривавшего корни двух величайших «зол» современности — коммунизма и фашизма — в европейских теориях XIX в.³, историки, придерживавшиеся либеральной системы ценностей, искали и находили идейные основы революции 1917 г. в рассуждениях «дворянского революционера» А.И. Герцена и народника Н.К. Михайловского⁴. Тогда не возникало сомнений в том, что к трагической развязке страну подтолкнул именно революционный радикализм интеллигенции. В нём усматривались и корни советской системы, а русский либерализм представлялся желанной, но «не состоявшейся альтернативой» революционному пути развития⁵. В то же время разворачивались

² Теория тоталитаризма, акцентировавшая преемственность между царской и советской Россией, не играла существенной роли в конкретно-исторических исследованиях событий конца XIX — начала XX в.

³ *Berlin I.* Political ideas in the twentieth century // *Foreign affairs*. 1950. № 28. Vol. 3. P. 351—385.

⁴ *Malia M.* Alexander Herzen and the birth of Russian socialism. Cambridge (Mass.), 1961; *Billington J.* Mikhailovsky and Russian populism. Oxford, 1958.

⁵ *Haimson L.* The Russian Marxists and the origins of Bolshevism. Cambridge (Mass.), 1955; *Treadgold D.* Lenin and his rivals: the struggle for Russia's future, 1898—1906. N.Y., 1955; *Baron S.* Plekhanov, the

дискуссии, в частности, о способности представителей того или иного идеологического течения предложить приемлемые решения важнейших российских проблем.

Тем не менее довольно быстро интеллектуальная история (в её узком смысле) отошла в тень, уступив место более широкому изучению революционно-освободительного движения. Здесь обнаруживается много аналогий и перекличек с советской историографией, видевшей в революционерах важнейший политический фактор падения режима и ярчайшее выражение его кризисного состояния. Разница заключалась прежде всего в оценках — в них плюс менялся на минус, — и в том, что поскольку для зарубежных специалистов история большевиков не имела сакрального значения, они могли больше и свободнее писать о других политических партиях (особенно если их деятельность позволяла судить о возможности альтернативного — эволюционного — развития России)⁶.

При выявлении причин революции долгое время основное внимание уделялось политической борьбе, особенно в краткий период «думской монархии». Неэффективность русского парламента признавалась одной из очевидных причин падения режима, а «кризисная составляющая» неизменно присутствовала в исследованиях, посвящённых Государственной думе и её отношениям с Николаем II и его министрами⁷.

Понятие о системном кризисе в царской России складывается в зарубежной историографии в 1960—1970-е гг. под влиянием прежде всего утверждавшихся в науке представлений о строгой обусловленности процессов, протекающих как в природе, так и в обществе, о законах развития, которые можно выявить и верифицировать, а в перспективе — даже использовать для управления меняющимся миром. Теперь это называют «позитивистской экспансией» в общественные науки, но тогда речь шла, скорее, о первостепенной роли социологии и восприятии общества как целостной системы, развивающейся по объективным законам, где случайность и субъективность имеют минимальное значение. В историографии господствующее положение заняла социальная история. Соответственно наибольший интерес у исследователей вызывали общественные группы, структуры и институты, народные массы, классы и классовое сознание, социальные конфликты и их причины. Всё это, а также

father of Russian Marxism. Stanford, 1963; *Fisher G.* Russian liberalism: From gentry to intelligentsia. Cambridge (Mass.), 1958; *Riha T.* A Russian European: Paul Miliukov on Russian politics. Notre Dame, 1969; *Essays on Russian liberalism* / Ed. by Ch. Timberlake. Columbia, 1972; *Pipes R.* Struve: Liberal on the left, 1870—1905. Cambridge, 1970; *Pipes R.* Struve: Liberal on the right, 1905—1944. Cambridge, 1980; и др.

⁶ *Ascher A.* Paul Axelrod and the development of Menshevism. Cambridge, 1972; *Tobias H.J.* The Jewish Bund in Russia from its origins to 1905. Stanford, 1972; *Galai Sh.* The liberation movement in Russia 1900—1905. N.Y., 1973; *Rosenberg W.G.* Liberals in the Russian revolution: The Constitutional democratic party, 1917—1921. Princeton, 1974; *Pinchuk B.-C.* The Octobrists in the Third Duma, 1907—1912. Seattle, 1974; *Birth E.* Die Oktobristen (1905—1913): Zielvorstellungen und Struktur. Stuttgart, 1974; *Elwood R.C.* Russian socialism in the underground: A study of the RSDRP in the Ukraine, 1907—1914. Assen, 1974; *Perrie M.* The agrarian policy of the Russian Socialist-Revolutionary party from its origins through the revolution of 1905—1907. N.Y., 1976; *Pearson R.* The Russian moderates and the crisis of tsarism, 1914—1917. N.Y., 1977; *Hildermaier M.* Die sozialrevolutionäre Partei Russlands. Agrarsozialismus und Modernisierung im Zarenreich (1900—1914). Cologne, 1978; *Baynac J.* Les socialistes-revolutionnaires de mars 1881 a mars 1917. Paris, 1979.

⁷ *Levine A.* The Third Duma. Election and profile. Hamden, 1973; *Hosking G.A.* The Russian constitutional experiment: Government and Duma 1907—1914. N.Y., 1973; *Tokmakoff G. P.A.* Stolypin and the Third Duma: An appraisal of the three major issues. Washington (D.C.), 1981.

общий «либертарианский» дух и популярность марксизма на Западе в 1960—1970-е гг. способствовали взаимодействию с советскими историками и усвоению их понятий, многие из которых инкорпорировались в зарубежную русистику, частично переосмысливались, критиковались и, в соответствии с принципами позитивизма, «проверялись на прочность», в том числе методами квантификации. Так вышло и с «кризисом самодержавия».

На Западе среди специалистов, изучавших Россию и её прошлое, в годы холодной войны преобладали сторонники либерально-универсалистских ценностей. Революция для них являлась несомненной трагедией, нарушившей нормальный ход развития государства, которое нуждается в законности, свободах и правах человека, частной собственности и парламентской демократии. В отличие от консерваторов (указывавших на преемственность дореволюционной и «тоталитарной» системы) они ставили императорскую Россию в один ряд с европейскими державами, а революцию признавали фактически неизбежным следствием «запоздалой» модернизации, протекавшей достаточно болезненно и остро, что считалось типичным для всех «догоняющих» стран. Лишив русскую революцию уникальности, теория модернизации предоставила концептуальную рамку для её рассмотрения в категориях нормативности и закономерности. «Кризис самодержавия» в этом контексте также оказался схожим с проблемами других «старых режимов» Европы и Азии, которые пытались с разной степенью успешности адаптироваться к «вызовам современности». При этом чётко формулировалась цель исторического процесса: переход от традиционного аграрного общества к современному индустриальному, как воплощению демократии и «развития».

На рубеже 1950—1960-х гг. западными специалистами была выработана модель российской модернизации и отмечены такие её сущностные черты, как экономическая отсталость, оборонительная позиция по отношению к «передовым» странам Западной и Центральной Европы и доминирующая роль государства, стремившегося избежать радикальной политической трансформации⁸. Но если на первых двух «фазах» (петровские реформы и преобразования 1860—1870-х гг.) это в целом удавалось, то беспрецедентный экономический рывок, совершённый Россией в 1890-е гг. и позволивший ей обогнать по темпам промышленного роста большинство развитых стран, не будучи подкреплён политически, вызвал нарастание социальных противоречий и дисбалансов, которые вылились в революционные возмущения 1905—1907 гг., а затем привели к падению царского режима.

Модернизационная парадигма стала основным аналитическим инструментом при изучении России и СССР на Западе и существенно расширила исследовательское поле. Историки начали пристально всматриваться в различные аспекты перехода к «современности» (*modernity*), включая урбанизацию, индустриализацию, формирование классов и нового типа семьи, развитие науки и образования, создание демократических политических институтов, построение гражданского общества, появление «автономного индивида» и др.

В рамках теории модернизации изучалась прежде всего экономика 1890—1910-х гг., поскольку считалось, что достижение определённых показателей при помощи таких инструментов, как свободный рынок, автоматически приводит к демократии. Отсюда — повышенный интерес к российской индустриализации

⁸ The transformation of Russian society. Aspects of social change since 1861 / Ed. by C. Black. Cambridge (Mass.), 1960. P. 665—671.

и «системе С.Ю. Витте». Но поскольку модернизация в России проводилась «сверху», а главным её «агентом» единодушно признавалась бюрократия, много было написано о правительственном аппарате империи. Одной из приоритетных тем являлось крестьянство — оплот «традиции», которому каким-то образом приходилось встраиваться в индустриальное общество.

Среди зарубежных историков сразу наметилось два полюса, совпадавших с позициями «оптимистов» и «пессимистов» в оценке шансов царского режима на выживание. Так, Александр Гершенкрон выдвинул концепцию «относительной отсталости», которая пользовалась большим авторитетом. Констатируя слабое развитие внутреннего рынка и другие аномалии (в частности, негативное влияние крестьянской реформы 1861 г. на ход индустриализации), он всё же не считал, что эти факторы порождали неразрешимые социальные конфликты, и приводил убедительные цифры, свидетельствовавшие о стабильном и чрезвычайно быстром экономическом росте империи. «Если бы не война», полагал Гершенкрон, Россия продолжала бы идти по пути прогрессивной «вестернизации»⁹.

Позицию «пессимистов», настаивавших на обречённости царизма, отчётливо сформулировал один из первых исследователей российской индустриализации — Теодор фон Лауэ, предложивший наиболее жёсткий вариант приложения теории модернизации к российской истории¹⁰. Фон Лауэ исходил из того, что Россия — страна, абсолютно непохожая на Запад, от которого она безнадежно отстает. По его мнению, высокие темпы индустриализации были чреваты социальным взрывом, а самодержавие оказалось неспособно его предотвратить. Соответственно революция становилась неизбежной, и война, в сущности, не меняла ситуацию, поскольку и в мирное время либерально-конституционный путь развития не имел шансов на успех, так как неразвитый городской сектор экономики и узкая «европеизированная» прослойка элиты не могли противостоять массе традиционного крестьянства и ассимилировать политически отсталые нерусские народности.

Между двумя этими полюсами и располагались работы по собственно экономической истории, в которых опровергались те или иные постулаты «мэтров»¹¹. В центре внимания их авторов находился «социально-экономический кризис», и прежде всего «аграрный кризис», который традиционно трактовался как следствие крестьянского малоземелья. Углублённые исследования американских, британских и австралийских специалистов показали долгосрочное улучшение уровня жизни крестьян-производителей на фоне значительного подъёма экономики в последние 50 лет существования самодержавия, несмотря на два краткосрочных кризисных периода 1891—1893 и 1905—1908 гг.¹² Вместе с тем, поскольку роль государства в модернизации страны признавалась определяющей, основное внимание уделялось экономической политике

⁹ *Gershenkron A. Economic backwardness in historical perspective. Cambridge (Mass.), 1962.*

¹⁰ *Laue T., von. Sergei Witte and the industrialization of Russia. Cambridge (Mass.), 1963; Laue T., von. Why Lenin? Why Stalin? A reappraisal of the Russian revolution, 1900—1930. Philadelphia, 1964.*

¹¹ См., в частности: *Crisp O. Studies in the Russian economy before 1914. N.Y., 1976; Kahan A. Russian economic history: The nineteenth century. Chicago, 1989; Economy and society in Russia and the Soviet Union, 1860—1930: Essays for Olga Crisp / Ed. by L. Edmondson, P. Waldron. N.Y., 1992.*

¹² *Wilbour E. Was peasant agriculture really that impoverished? // Journal of economic history. 1983. Vol. 43. № 1. P. 137—144; Wheatcroft S. Crises and the condition of the peasantry in late imperial Russia // Peasant economy, culture and politics of European Russia, 1800—1921 / Ed. by E. Kingston-Mann, T. Mixter. Princeton, 1991. P. 128—172; Gatrell P. The tsarist economy, 1850—1917. L.; N.Y., 1986.*

правительства. По большей части она оценивалась как провальная, близорукая, преследовавшая сиюминутные узко фискальные интересы и не учитывавшая интересы нарождавшейся буржуазии¹³. Наиболее ярко экономическая политика характеризовалась в исследованиях, посвящённых столыпинской аграрной реформе, которую называли «последней попыткой царизма удержаться на плаву»¹⁴.

В рамках теории модернизации столыпинские реформы выглядели ответом на экономический и политический кризисы, характерные для бурно развивающейся страны, а их цель виделась в том, чтобы не только поднять производительность аграрного сектора, но и привить патриархальному («обособленному») крестьянству «современные» ценности, втянуть его в мир частной собственности и рыночного хозяйства и в конечном счёте — установить в деревне «закон и порядок». В борьбе за эти преобразования историки усматривали конфликт либералов и реакционеров, модернизаторов и традиционалистов, наконец, буржуазных и феодальных ценностей. Тщательно анализировались также способы подготовки и проведения через инстанции тех или иных проектов, способных повысить эффективность экономики и администрации¹⁵. Зарубежные историки отмечали «недоуправляемость» России (*undergovernment*), выражавшуюся как в нехватке кадров, так и в отсутствии адекватных форм взаимодействия между разными уровнями власти, что в итоге вело к неэффективности бюрократии. Тем самым речь шла об *управленческом* кризисе в империи, в основе которого виделось коренное противоречие между личным, харизматическим (по М. Веберу) характером власти в традиционном обществе и рациональным, безличным, бюрократическим — в современном индустриальном социуме, где всем правят «институты»¹⁶.

В русле популярной в 1970—1980-е гг. институциональной истории подробно исследовались обстоятельства «паралича власти», нараставшего в конце царствования Николая II. Однако, поскольку, согласно теории модернизации, причины коллапса верховной власти носили структурный характер (несовместимость патриархальных прерогатив самодержца и полномочий рациональных действующих институций), с бюрократии снималась «прямая» ответственность

¹³ См., в частности: *Haumann H.* Kapitalismus in zaristischen Staat, 1906—1917. Organisationsformen, Machtverhältnisse und Leitungsbilanz im Industrialisierungsprozess. Königstein, 1980; *Owen T.* The corporation under Russian law, 1800—1917. A study in tsarist economic policy. Cambridge, 1991.

¹⁴ *Treadgold D.* The Great Siberian migration: Government and peasant in resettlement from emancipation to the First World War. Princeton, 1957; *Conroy M.S.* Peter Arkad'evich Stolypin: Practical politics in late tsarist Russia. Boulder, 1976; *Hennessey R.* The agrarian question in Russia, 1905—1907: The inception of the Stolypin reform. Giessen, 1977; *Tokmakoff G. P.A.* Stolypin and the Third Duma: An appraisal of the three major issues. Washington, 1981; *Yaney G.* The urge to mobilize: Agrarian reform in Russia, 1861—1930. Urbana, 1982; *Macey D.* Government and peasant in Russia, 1861—1906. The prehistory of the Stolypin reforms. DeKalb, 1987.

¹⁵ *Weissman N.* Reform in tsarist Russia: The state bureaucracy and local government, 1900—1914. New Brunswick, 1981; *The zemstvo in Russia: An experiment in local self-government* / Ed. by T. Emmons, W. Vucinich. Cambridge, 1982; *Judge E.H.* Plehve: Repression and reform in imperial Russia, 1902—1904. Syracuse, 1983; *Robbins R.G., jr.* The tsar's viceroys: Russian provincial governors in the last years of the empire. Ithaca, 1987; *Pearson T.* Russian officialdom in crisis: Autocracy and local self-government, 1861—1900. Cambridge, 1989; *Wcislo F.W.* Reforming rural Russia: State, local society, and national politics, 1855—1914. Princeton, 1990; и др.

¹⁶ *Yaney G.L.* The systematization of Russian government: Social evolution in the domestic administration of imperial Russia, 1711—1905. Urbana, 1973.

за революцию. К тому же выяснилось, что в ряде случаев неповоротливая государственная машина успешно справлялась с кризисами¹⁷.

Ещё одной глубинной причиной революции представлялось несовершенство российского общества, раздробленного на многочисленные, изолированные друг от друга и от государства группы. В особенности это касалось крестьянства. Развитие крестьяноведения (*peasant studies*), опиравшегося, в частности, на концепцию А.В. Чаянова об особом экономическом и ментальном характере крестьянского мира, позволило лучше понять устройство общины, культурные и социальные практики, верования, семейные нормы и обычаи русской деревни¹⁸. При этом западные учёные исходили из идеи о постоянном повседневном противостоянии государства («элиты») и крестьян («низших классов»), защищавших свой мир от вторжения извне.

Дезинтеграция, раздробленность обнаруживались и при изучении формирования «буржуазии» или «среднего класса», который считался основным «двигателем прогресса», особенно в политической жизни. Утверждалось, что процесс перехода от средневековых сословий к современным классам в России сильно затянулся¹⁹. Слабая, разобщённая буржуазия не могла отстаивать свои интересы, а дворянство не было заинтересовано в прогрессе, крепко держась за сословные привилегии и власть на местах²⁰.

Отношения между многочисленными разрозненными социальными группами Российской империи характеризовались в англоязычной русистике как антагонистические, способствовавшие радикализации общества и расшатывавшие правящий режим. Так, по мнению Л. Хеймсона, нарастание социальной дифференциации в России перед Первой мировой войной неминуемо вело страну к революции²¹. В то же время, в соответствии с теорией модернизации, фундаментальная причина неспособности патриархального царского правительства адекватно отвечать на «вызовы современности» заключалась в конфликте между традиционной и современной («модерной») системами ценностей, проявления которого обнаруживались в самых разных слоях общества. Теория модернизации позволяла дать «строго научные» объяснения происходившим в России процессам. При этом она базировалась на присущей эпохе модерна конфликтной логике, понимавшей мир как борьбу противоположно-

¹⁷ См., в частности: *Robbins R.G., jr. Famine in Russia, 1891—1892: The imperial government responds to a crisis.* N.Y., 1975.

¹⁸ *Atkinson D. The end of the Russian land commune, 1905—1930.* Stanford, 1983; *Shanin T. The roots of otherness: Russia's turn of the century.* Vol. 1: Russia as a «developing society». New Haven, 1986; *Hoch S. Serfdom and social control in Russia: Petrovskoe, a village in Tambov.* Chicago, 1986; *Peasant economy, culture, and politics in European Russia...*; *Worobec C. Peasant Russia: Family and community in the post-emancipation period.* DeKalb, 1995; *Moon D. The Russian peasantry, 1600—1930: The world the peasants made.* L.; N.Y., 1999; *Frank S. Crime, cultural conflict, and justice in rural Russia, 1856—1914.* Berkeley, 1999; и др.

¹⁹ *Owen T.C. Capitalism and politics in Russia: A social history of the Moscow merchants, 1855—1905.* Cambridge, 1981; *Rieber A.J. Merchants and entrepreneurs in imperial Russia.* Chapel Hill, 1982. Сословия в России — достаточно популярная и дискуссионная тема в зарубежной историографии 1980—1990-х гг. См.: *Фриз Г. Сословная парадигма и социальная история России // Американская русистика.* Самара, 2000. С. 121—162.

²⁰ *Edelman R. Gentry politics on the eve of the Russian revolution: The nationalist party, 1907—1917.* New Brunswick, 1981; *Manning R.T. The crisis of the old order in Russia: Gentry and government.* Princeton, 1982; *Becker S. Nobility and privilege in late imperial Russia.* DeKalb, 1985.

²¹ *Haimson L. The problem of social stability in urban Russia, 1905—1917 // Slavic Review.* Vol. 23. 1964. № 4. P. 619—642; Vol. 24. 1965. № 1. P. 1—22.

стей (репрессивной власти и общества, претендующего на участие в управлении, государства и низших классов, крестьян и рабочих).

Кульминацией накопившихся в обществе конфликтов, «моментом истины» явилась революция 1905—1907 гг.²² Пик в её изучении пришёлся на 1980-е гг. К этому времени относится и расцвет рабочей истории в зарубежной русистике²³, поэтому неудивительно, что в центре внимания оказались пролетариат и столицы — Москва и Петербург, хотя появились и интересные работы, посвящённые аграрному движению, участию в революции профессиональной интеллигенции и армии²⁴. Итоги «генеральной репетиции» 1917 г. подводились, как правило, неутешительные, причиной её неудачи считалась всё та же разобщённость (хотя отмечались и определённые успехи, например, в самоорганизации рабочих).

Однако к концу 1980-х гг. монографии и статьи о повседневности, культуре и быте, менталитете разных сословий и классов заметно потеснили работы, посвящённые «революционной» проблематике. Это существенно изменило ландшафт зарубежной русистики, в которой проявилась тенденция к сглаживанию антагонизмов в интерпретациях конкретно-исторического материала. В методологическом отношении это принято определять как переход от структурной к социально-культурной истории. Так, в экономической истории, довольно стабильно развивавшейся до начала 2000-х гг., последовательно преобладали исследования, освещавшие собственно экономику, политические, социальные, а затем социально-культурные сюжеты. Постепенно менялось понимание индустриализации и образ российского капитализма в целом, всё меньше говорилось о «руководящей роли» государства, всё больше — о людях, их взглядах, стиле жизни²⁵. По схожей траектории развивались и другие субдисциплины русистики, например, женская история. Встроенная первоначально в анализ революционно-освободительного движения²⁶, она вскоре разрослась до социальной истории женщин, а в 1990-е гг. «перескочила» на гендерную и

²² *Shanin T.* The roots of otherness: Russia's turn of the century. Vol. 2. Russia, 1905—1907: Revolution as a moment of truth. New Haven, 1986.

²³ *Johnson R.E.* Peasant and proletarian: The working class of Moscow in the late nineteenth century. New Brunswick, 1979; *Bonnell V.E.* Roots of rebellion: Workers' politics and organizations in St. Petersburg and Moscow 1900—1914. Berkeley, 1983; *Glickman R.* The Russian factory woman: Workplace and society, 1880—1914. Berkeley, 1984; *Friedgut T.H.* Iuzovka and revolution. Vol. 1. Princeton, 1989.

²⁴ *Sablinsky W.* The road to Bloody Sunday: Father Gapon and the St. Petersburg massacre of 1905. Princeton, 1976; *Engelstein L.* Moscow, 1905: Working class organization and political conflict. Stanford, 1982; *Bushnell J.* Mutiny and repression: Russian soldiers in the revolution of 1905—1906. Bloomington, 1985; *Ascher A.* The revolution of 1905: Russia in disarray. Stanford, 1988; *Edelman R.* Proletarian peasants: The revolution of 1905 in Russia's Southwest. Ithaca, 1987; *Seregny S.J.* Russian teachers and peasant revolution: The politics of education in 1905. Bloomington, 1989.

²⁵ *McCaffray S.P.* The politics of industrialization in tsarist Russia: The Association of Southern Coal and Steel Producers, 1874—1914. DeKalb, 1996; *Roosa R.A.* Russian industrialists in an era of revolution: The Association of Industry and Trade, 1906—1917 / Ed. by Th.C. Owen. Armonk, 1997; Merchant Moscow: Images of Russia's vanished bourgeoisie / Ed. by J.L. West, Yu.A. Petrov. Princeton, 1998; *Grant J.A.* Big business in Russia: The Putilov Company in late imperial Russia, 1868—1917. Pittsburgh, 1999; *Holmgren B.* Rewriting capitalism: Literature and the market in late tsarist Russia and the Kingdom of Poland. Pittsburgh, 1998; *Owen Th.C.* Dilemmas of Russian capitalism: Fedor Chizhov and corporate enterprise in the railroad age. Cambridge, 2005; *Ruane C.* The empire's new clothes. A history of the Russian fashion industry, 1700—1917. New Haven, 2009.

²⁶ *Stites R.* The women's liberation movement in Russia: Feminism, nihilism and bolshevism, 1860—1930. Princeton, 1978; *Clements B.* Bolshevik feminist: The life of Alexandra Kollontai. Bloomington, 1979.

культурологическую проблематику²⁷. К этому времени социальная история в её классическом варианте, построенном на концептах «сопротивления и конфронтации», утратила былое преобладание, уступив место культурной истории, которая сосредоточилась на проблемах взаимодействия, адаптации, сотрудничества, диалога.

Одновременно возрастал интерес к гражданскому обществу как одному из главных условий эволюции государства в направлении либеральной демократии²⁸. Оценки его состояния в пореформенной России колебались от «зачаточного» и «нарождающегося» до «вполне жизнеспособного», в зависимости от того, в чём усматривалась сущность данного явления: в оппозиции царизму или же в сотрудничестве с властью при расширении поля деятельности частных лиц и их объединений. Характерно, что к этому времени, благодаря исследованиям 1970—1980-х гг., самодержавие уже не казалось чем-то одиозным и исключительно репрессивным, его образ изменяется и усложняется, на смену устаревшим схемам приходят более взвешенные и разносторонние описания²⁹. В государстве начинают видеть не только «инструмент насилия», но и двигатель интеграции.

Подспудные сдвиги, происходившие в западной историографии в 1980-е гг., получили мощный импульс после окончания холодной войны. В условиях деидеологизации перед русистикой открылись новые перспективы, что способствовало пересмотру прежних концепций. «Парадигма 1917 г.» довольно быстро стущёвается, а понятие «кризис самодержавия» в ходе дискуссий рубежа 1980—1990-х гг. активно критикуется и ставится под сомнение. Так, по мнению М. Конфино, кризис в истории (как и в медицине) по определению не может быть хроническим и длиться сто лет, поскольку подразумевает нечто, связанное именно с «разрушением, сломом» и «внезапным катастрофическим ускорением исторического процесса»³⁰.

Как ни странно, в «революционные 1990-е» революции и кризисы утрачивают актуальность для западных русистов. Более того, они успешно преодолевают «разрыв 1917 г.» и по-новому размышляют о преемственности между царской и советской Россией, обнаруживая её не в извечной наклонности к несвободе и тоталитаризму, а в культуре, науке и социальных процессах, на которые смена режима не могла оказать прямое воздействие. Историков волнуют уже не столько причины, сколько последствия революции, которая «только началась» в октябре 1917 г.³¹ Теория модернизации уже не устраивала исследователей, отвергавших её детерминизм, телеологию, нормативный подход, европоцентризм и линейное, стадийное понимание истории.

²⁷ Russia's women: Accommodation, resistance, transformation / Ed. by B.E. Clements, B.A. Engel, Ch.D. Worobec. Berkeley, 1991; Engel B.A. Between the fields and the city: Women, work, and family in Russia, 1861—1914. Cambridge, 1994; Ruane C. Gender, class, and the professionalization of Russian city teachers, 1860—1914. Pittsburgh, 1994; Gender in Russian history and culture / Ed. by L.L. Edmondson. N.Y., 2001; Russian masculinities in history and culture / Ed. by B.E. Clements et al. Basingstoke (Hunts); N.Y., 2002.

²⁸ Frame M. School for citizens: Theatre and civil society in imperial Russia. New Haven, 2006; Bradley J. Voluntary associations in tsarist Russia: Science, patriotism, and civil society. Cambridge, 2009.

²⁹ См., например: Verner A.M. The crisis of Russian autocracy. Nicholas II and the 1905 revolution. Princeton, 1990.

³⁰ Confino M. Present events and the representation of the past: Some current problems in Russian historical writing // Cahiers du monde russe. 1994. Vol. XXX. № 4. P. 851.

³¹ Kotkin S. 1991 and the Russian revolution: Sources, conceptual categories, analytical frameworks // Journal of modern history. Vol. 70. 1998. № 3. P. 384—425.

После распада СССР о России и её месте в мире заговорили и в контексте «имперских исследований» (*imperial studies*), возникших на пике интереса к этничности и национализму. Это направление довольно быстро набирает вес, освещая прежде всего факторы стабильности и процветания Российской империи, а не её падения (что вполне совпадало с тенденциями в мировой историографии, переживавшей тогда «имперский поворот»). Если прежде Россия изображалась «тюрьмой народов», то теперь работы западных учёных отсылают к «прекрасному прошлому», когда она веками успешно управляла своими племенами и народами, раскрывают формирование идентичностей, соотношение «русского» и «имперского», анализируя его в соответствии с принципами новой культурной истории, ориентированной на изучение образов и репрезентаций³². Имперская парадигма, позволившая на равных включить Россию в «семью европейских наций», довольно быстро вытесняет парадигму модернизации с её фиксацией на проблемах отсталости и «догоняющего развития».

В ходе «культурного поворота» в западной русистике полнее показана роль простого народа как потребителя и производителя массовой культуры и носителя общественного сознания³³, характеризуются системы ценностей и корректируется представление об «отсутствующем среднем классе»³⁴. Одним из новейших направлений выступает история религии и религиозности, не столько разъясняющая отношения Церкви и государства, сколько пытающаяся осмыслить духовность, «живой религиозный опыт», а также конфессиональную политику империи в ситуации этнического и религиозного разнообразия³⁵.

В целом же современная англоязычная историография исключительно многообразна и включает такие ранее не изучавшиеся стороны социальности и государственной политики России и Советского Союза, как, например, история окружающей среды (*environmental history*), туризм и т.д.³⁶ Совершенно но-

³² См., в частности: Imperial Russia: New histories for the Empire / Ed. by J. Burbank, D.L. Ransel. Bloomington, 1998; Russia's Orient: Imperial borderlands and peoples, 1700—1917 / Ed. by D.R. Brower, E.J. Lazzerini. Bloomington, 1997; Khalid A. The politics of Muslim cultural reform: Jadidism in Central Asia. Berkeley, 1998; Geraci R.P. Window on the East: National and imperial identities in late tsarist Russia. Ithaca, 2001; Brower D. Turkestan and the fate of the Russian empire. L., 2003; Sahadeo J. Russian colonial society in Tashkent: 1865—1923. Bloomington, 2007; Sunderland W. The baron's cloak: A history of the Russian Empire in war and revolution. Ithaca, 2014; Rieber A. The struggle for the Eurasian borderlands: From the rise of Early Modern empires to the end of the First World War. Cambridge, 2014; Steinwedel Ch. Threads of empire: Loyalty and tsarist authority in Bashkiria, 1552—1917. Bloomington, 2016; Campbell I.W. Knowledge and the ends of empire: Kazak intermediaries and Russian rule on the Steppe, 1731—1917. Ithaca, 2017; и др.

³³ Brooks J. When Russia learned to read: Literacy and popular literature, 1861—1917. Princeton, 1985; Stites R. Russian popular culture: Entertainment and society since 1900. Cambridge; N.Y., 1992; Salmond W.R. Arts and crafts in late imperial Russia: Reviving the kustar art industries, 1870—1917. Cambridge, 1996; Turston G. The popular theatre movement in Russia, 1862—1919. Evanston, 1998; и др.

³⁴ Russia's missing middle class: The professions in Russian history / Ed. by H.D. Balzer. Armonk, 1996; Literary journals in imperial Russia / Ed. by D.A. Martinsen. Cambridge, 1997.

³⁵ Chulos C.J. Converging worlds: Religion and community in peasant Russia, 1861—1917. DeKalb, 2003; Shevzov V. Russian Orthodoxy on the eve of revolution. Oxford, 2004; Coleman H.J. Russian Baptists and spiritual revolution, 1905—1929. Bloomington, 2005; Crews R.D. For prophet and tsar: Islam and empire in Russia and Central Asia. Cambridge, 2006; Herlinger P. Working soles: Russian Orthodoxy and factory labor in St. Petersburg, 1881—1917. Bloomington, 2007; Werth P. The tsar's foreign faiths: Toleration and the fate of religious freedom in imperial Russia. Oxford; N.Y., 2014 и др.

³⁶ Brain S. Song of the forest: Russian forestry and Stalinist environmentalism, 1905—1953. Pittsburgh, 2011; Turizm: The Russian and East European tourist under capitalism and socialism / Ed. by A.E. Gorsuch, D.P. Koenker. Ithaca, 2006; Russia in motion: Cultures of human mobility since 1850 / Ed. by J. Randolph, E.M. Avrutin. Urbana, 2012.

вые перспективы открыли перед специалистами «визуальный» и «эмоциональный» повороты, которые совсем недавно, с некоторым запозданием пришли в русистику³⁷. Но главную роль сыграл, конечно, «антропологический поворот», призывающий увидеть в *индивиде* активное и деятельное начало истории. В новой системе координат центральное место занял человек (субъект), а не «объективные факторы» или социальные структуры и группы.

Для современной зарубежной историографии (независимо от методологических предпочтений) характерен более позитивный, чем прежде, взгляд на российское прошлое, хотя при этом не игнорируются и его трагические и «тёмные» стороны. Историки отдают предпочтение диалогу, сотрудничеству и взаимовлиянию, а не конфронтации, что в конечном итоге ведёт к изменению общей тональности исследований и исчезновению из них обличительных нот. Постепенно вытесняются и привычные, хотя давно уже критиковавшиеся противопоставления «государство—общество», «власть—оппозиция», «традиционное—современное (европеизированное)», а вместе с ними и «конфронтационный подход». Можно сказать, что на смену иерархическому дискурсу модерна с идеями прогресса, линейного развития, жёсткого соотношения причины и следствия, привычкой опираться на противопоставления (т.е. рассуждать в рамках бинарных оппозиций и соответственно видеть мир в чёрно-белых тонах) приходит мышление пост-постмодерна с множественностью и неоднозначностью причинных связей, семантической сложностью и многоцветьем палитры. И в предметном, и в дисциплинарном, и в методологическом отношениях, и в том, что касается конкретно-исторических интерпретаций — это «другая история»³⁸.

Соответственно изменился и образ «преддверия революции». Он представлен в сравнительно немногочисленных, но исключительно содержательных работах, встраивающих этот решающий для истории России период в общемировую (или общеевропейскую) картину эпохи «высокой» модерности, длившейся с 1880-х гг. до начала Второй мировой войны. Её сущностной чертой признаётся противоречивость, парадоксальность, кризисность. Это эпоха «восстания масс», когда получили распространение массовое производство и потребление, массовая культура и политика, и вместе с тем — время крайнего индивидуализма и формирования современного типа личности — «автономного индивида». Это эпоха разума и рациональности, величайших открытий в физике, химии, биологии, медицине, развития технологий, урбанизации, индустриализации и транспортной революции, сделавшей доступными самые удалённые регионы планеты. Но это также период напряжённых духовных исканий, подъёма религиозных движений и взлёта религиозно-философской мысли. Наконец, это годы расцвета принципиально нового искусства, отличавшегося характерной устремлённостью в будущее. И кроме того, это апогей империализма — при резком усилении националистического духа.

Все перечисленные характеристики «высокой модерности» прилагаются и к России, которая воспринималась тогда современниками как вполне европей-

³⁷ Picturing Russia: Explorations in visual culture / Ed. by V.A. Kivelson, J. Neuberger. New Haven, 2008; Interpreting emotions in Russia and Eastern Europe / Ed. by M.D. Steinberg, V. Sobol. DeKalb, 2011; Levitt M.C. The visual dominant in eighteenth-century Russia. DeKalb, 2011; Russian history through the senses. From 1700 to the present / Ed. by M.P. Romaniello, T. Starks. L., 2016.

³⁸ *Большакова О.В.* Другая история: Современная американская историография России // История: Электронный научно-образовательный журнал. 2014. Т. 5. Вып. 7(30) (URL: <https://history.jes.su/s207987840000838-0-1>).

ская великая держава. Как и в Европе, в ней происходили глубокие, тектонические сдвиги в конфигурации социальных, национальных и гендерных идентичностей. Как и в Европе, это была пора испытаний. Кто-то видит её широко и глобально, говоря об общемировом кризисе начала XX в., который вылился в серию войн и революций, продлившуюся до середины 1920-х гг. и закончившуюся становлением нового миропорядка. Кто-то выделяет отдельные его аспекты: духовный *fin de siècle*, внешнеполитический и проч. Для России моментом кризиса, безусловно, считается революция 1905 г., но «настоящий» кризис датируют 1914—1921 гг.³⁹

Восприятие «кризиса самодержавия», некогда занимавшего центральное место в англоязычных исследованиях, посвящённых истории России конца XIX — начала XX в., к настоящему времени серьёзно изменилось. Прежде всего, речь теперь идёт скорее не о причинах, а о предвестниках падения режима. И это отнюдь не рост крестьянского и рабочего движения и не деятельность политических партий. С крестьянством, как показывают относительно недавно опубликованные работы, всё обстояло достаточно неплохо: оно весьма успешно адаптировалось к изменяющимся условиям⁴⁰. Основные проблемы коренились в городах, где фактически создавалась культура современности («модерности») и разворачивались процессы, дестабилизировавшие царский режим. Сказывались и ускорявшийся темп городской жизни, и увеличение мобильности населения, и резкие перемены в образе жизни, и изменения в сознании и ожиданиях людей (рост индивидуализма, возникновение консюмеризма и массовой культуры)⁴¹.

Кроме того, по наблюдениям исследователей, важнейшую роль играло колебание людей между двумя полюсами — оптимистической верой в прогресс (сопровождавшейся иллюзией всемогущества человека и его способности переделать общество) и пессимизмом, предчувствием социального коллапса, морального разложения и вырождения человечества⁴². В России, где передовая научно-техническая и общественная мысль соседствовала с промышленной отсталостью и элементами патриархальной культуры, где присутствовала неудовлетворённость уровнем развития страны, не поспевающей за «прогрессом», все характерные черты и противоречия модерна проявлялись с особой остротой⁴³.

Неврастения, эпидемия самоубийств, общий эмоциональный настрой рубежа XIX—XX вв., пронизанный ощущением надвигающейся катастрофы, вызывают большой интерес у современных историков⁴⁴. Другое измерение кризиса — изменение гендерных норм, связанное не только с феминизмом и суфражизмом, но и с «кризисом маскулинности». После революции 1905 г. в России

³⁹ Эта датировка утвердилась после публикации монографии П. Холквиста: *Holquist P. Making war, forging revolution: Russia's continuum of crisis, 1914—1921*. Cambridge, 2002.

⁴⁰ *Burbank J. Russian peasants go to court: Legal culture in the countryside, 1905—1917*. Bloomington, 2004; *Gaudin C. Ruling peasants: Village and state in late imperial Russia*. DeKalb, 2007.

⁴¹ *Youngblood D.J. The magic mirror: Moviemaking in Russia, 1908—1918*. Madison, 1999; *McReynolds L. Russia at play: Leisure activities at the end of the tsarist era*. Ithaca, 2003; *West S. I shop in Moscow: Advertising and the creation of consumer culture in late tsarist Russia*. DeKalb, 2011; *Hilton M.L. Selling to the masses: Retailing in Russia, 1880—1930*. Pittsburgh, 2012.

⁴² *Beer D. Renovating Russia: The human sciences and the fate of liberal modernity, 1880—1930*. Ithaca, 2008. P. 5—6.

⁴³ *Banerjee A. We modern people: Science fiction and the making of Russian modernity*. Middletown, 2012. P. 10—12.

⁴⁴ *Morrissey S.K. Suicide and the body politic in imperial Russia*. Cambridge, 2006; *Steinberg M.D. Petersburg fin de siècle*. New Haven, 2011.

фиксируется возникновение новых типов мужчин: с одной стороны — военизированные спортивные юноши, с другой — аморальные невrastеники-индивидуалисты⁴⁵. И те и другие проявят себя в полной мере в годы Первой мировой войны, а пока они «расшатывают устои», подрывая каждый по-своему веру в непреложность патриархальной власти — и главы семьи, и главы государства.

Ещё один важный аспект кризиса — «религиозная мобилизация» рубежа XIX—XX вв., выражавшаяся как в активных духовных поисках (возникновение новой традиции религиозной философии, богоискательство, распространение мистицизма в литературе и искусстве), так и в подъёме неконформистских движений, в борьбе за свободу совести, наконец, в массовом паломничестве к святым местам и т.д. Религиозный опыт и связанные с ним идеи занимали заметное место в процессе выработки различных национальных идентичностей и новых идеологий в Российской империи в ту переломную эпоху⁴⁶.

В целом, контраст с предшествующей историографией разителен. Исследователи революции 1905 г., анализирующие теперь в основном её последствия, констатируют, что именно она впустила насилие в повседневную жизнь русской публики, читавшей бульварные романы и жёлтую прессу, посещавшей кинематограф⁴⁷. Насилие — одна из крупных, значимых тем в современной русистике, ключевая при освещении войн и революций, но изучаемая и на материале предвоенного десятилетия⁴⁸. Распространение насилия, рост национализма и кризис гендерных норм являлись, по мнению ряда западных исследователей, важнейшими предвестниками падения царского режима⁴⁹.

Роль государства в эпоху модерности характеризуется теперь активным вторжением в жизнь подданных, усилением надзора и контроля. Оно уже лишилось статуса «творца истории», основное внимание уделяется его роли в мобилизации и интеграции населения, формировании гражданственности⁵⁰. Продолжается выявление преемственности управленческих практик и политической культуры царского и советского времени, основанных на «проекте Просвещения» с его верой в науку и рациональность. Особенно активно эти практики формировались в годы Первой мировой войны, с которой и начался «истинный» кризис Российской империи⁵¹.

Преемственность выявляется и в сфере идей. В новейшей историографии отмечается, что проекты изменения общества на «строгих научных» основаниях, разрабатывавшиеся в Европе и в России в начале XX в., были во многом схожи, независимо от «партийной принадлежности» авторов. Их объединяли представления о социуме как объекте инженерии, страх перед стихийностью,

⁴⁵ *Sanborn J.* Drafting the Russian nation: Military conscription, total war, and mass politics, 1905—1925. DeKalb, 2003.

⁴⁶ *Sacred stories: Religion and spirituality in modern Russia* / Ed. by M.D. Steinberg, H.J. Coleman. Bloomington, 2007; *Kane E.* Russian hajj: empire and the pilgrimage to Mecca. Ithaca, 2015; и др.

⁴⁷ *McReynolds L.* Murder most Russian: True crime and punishment in late imperial Russia. Ithaca; L., 2013.

⁴⁸ *Schnell F.* Ordnungshuter auf Abwegen? Herrschaft und illegitime polizeiliche Gewalt in Moskau, 1905—1914. Wiesbaden, 2006.

⁴⁹ См.: *McReynolds L.* Murder most Russian...

⁵⁰ *Holquist P.* Making war, forging revolution...; *Lohr E.* Russian citizenship: From empire to Soviet Union. Cambridge, 2012; *Kotsonis Y.* States of obligation: Citizenship and taxation in imperial and early Soviet Russia. Toronto, 2014.

⁵¹ *Sanborn J.* Imperial apocalypse: The Great war and the destruction of the Russian empire. N.Y.; Oxford, 2014; *The empire and nationalism at war* / Ed. by E. Lohr, V. Tolz, A. Semyonov, M. von Hagen. Bloomington, 2014.

иррациональностью, преклонение перед порядком и диктатом рассудка, уверенность в необходимости ограничения свободы человека. В результате европейские проекты «улучшения» общества — не только радикальные, но и либеральные — опирались на насилие, и различия между либерализмом и тоталитаризмом заключались скорее в степени амбициозности тех задач по переустройству мира, которые они ставили перед собой⁵².

Подводя итоги, следует констатировать, что в зарубежной русистике «преддверие революции» (1890—1914 гг.) всё меньше интересует историков. Их внимание обращено преимущественно на предшествующие столетия и на советское время (особенно на 1960—1970-е гг.). Лишь в связи с юбилеем Первой мировой войны (к которой подтянули и революцию 1917 г.) наблюдалось некоторое оживление публикационной активности. О кризисе Российской империи не спорят, не ставят его под сомнение, не ищут альтернатив либо «ответственных» за него и не выносят окончательных вердиктов. Сложилось убеждение в том, что падения монархии нельзя было избежать хотя бы в силу глобального характера событий, и это данность, которую следует изучать. Но сами по себе гибель царского режима и рождение советского государства уже не воспринимаются как острая, актуальная проблема. Тем не менее затронутые в современных работах сюжеты, поставленные в них вопросы и намеченные линии вызывают интерес и открывают перспективы для дальнейших исследований. Они, несомненно, обогатили наши представления о переломной эпохе отечественной истории, добавив к её портрету много ярких и неожиданных красок.

⁵² *Beer D. Renovating Russia...* P. 2—4, 23—25.